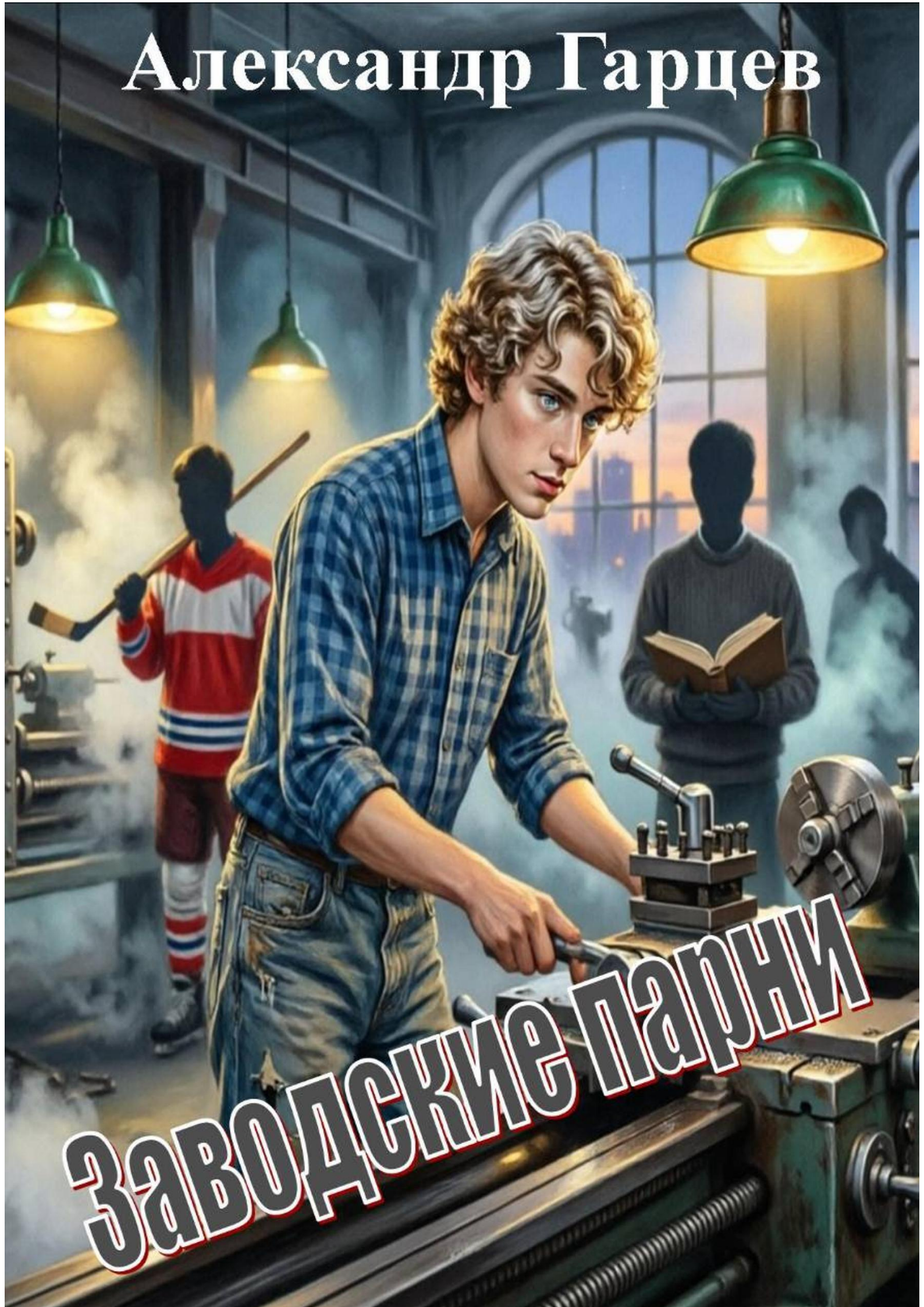


Александр Гарцев

Заводские парни



Александр Гарцев

Заводские парни

«Автор»

2026

Гарцев А.

Заводские парни / А. Гарцев — «Автор», 2026

Повесть писателя Александра Гарцева «Заводские парни» — это гимн взрослению. Это напоминание о том, что самый важный станок, который мы настраиваем за свою жизнь, — это наша душа. И что даже в самой серой жизни можно найти свои краски, если не бояться смотреть на мир открытыми глазами. Весна 1970 года. Провинциальный Киров. Семнадцатилетний Лёша Белов, начитанный и мечтательный студент, приходит на заводскую практику, уверенный, что этот мир грубой работы и простых людей — не для него. Он носит очки, цитирует Достоевского и всерьез верит, что его призвание — высокие материи, а не железо и мазут. Но завод оказывается жестче книг. Здесь не прощают ошибок, здесь проверяют на прочность, здесь учат жить. В новой бригаде Лёша встречает циника Гену, сломленного интеллектуала, спортсмена Славу, мечтающего о хоккее, и простого парня Кольку. Они становятся его зеркалами, его испытаниями, его школой.

© Гарцев А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	6
А вот и наши герои	8
Глава 1. Проходная номер три	10
Глава 2. Струны и душа	13
Глава 3. Норма	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Александр Гарцев

Заводские парни

Посвящается тем, кто создает себя сам.

От автора

Когда я был мальчишкой, мне казалось, что мир делится на две части: на книги и на жизнь. В книгах всё было понятно — там герои совершали выбор, страдали, любили, умирали за идеи. А в жизни... в жизни всё было серым, вязким, неопределённым. В жизни нужно было просто работать, просто учиться, просто быть как все. И я, как многие мои сверстники, метался между этими двумя мирами, не понимая, где моё место.

Наверное, поэтому я так полюбил французских экзистенциалистов. Не потому, что они были модными — хотя в семидесятые их читали тайком, передавая друг другу потрёпанные томики, как запретный плод. А потому, что они говорили о том, что я чувствовал, но не мог выразить. Сартр писал: «Человек осуждён быть свободным». И это было одновременно и страшно, и освобождающе. Страшно — потому что свобода означала ответственность. Освобождающе — потому что она означала, что я не обязан быть тем, кем меня хотят видеть.

Но что значит «быть свободным» в стране, где всё подчинено плану? Где даже мысли должны быть правильными? Где слово «диссидент» звучит как приговор? Здесь свобода была не политической категорией — она была внутренней. Это была свобода оставаться собой, когда вокруг все пытаются сделать тебя винтиком. Это была свобода читать то, что хочешь, думать то, что думаешь, любить того, кого выбираешь. И за эту свободу приходилось платить — одиночеством, непониманием, иногда — страхом.

Я вспоминаю Достоевского. Он был для нас, подростков семидесятых, чем-то вроде духовного наставника. Мы читали его не в школе — в школе нас учили, что он «критик самодержавия» и «певец униженных и оскорблённых». Мы читали его по-другому. Мы искали у него ответ на вопрос: как остаться человеком, когда мир бесчеловечен? Князь Мышкин, Раскольников, Алёша Карамазов — они все были для нас не литературными героями, а живыми людьми, которые пытались найти свой путь. Мы спорили о них в курилках, на кухнях, в общехитиях. И каждый видел в них что-то своё.

Я, например, всегда чувствовал родство с князем Мышкиным. Не потому, что я был таким же добрым или наивным — я был другим. А потому, что он тоже был чужим в этом мире. Он не понимал правил игры, по которой жили все вокруг. Он пытался быть честным, когда честность была неудобна. Он любил, когда любовь была невозможна. И он платил за это — своей уязвимостью, своей болью, своим одиночеством.

Но Достоевский показал мне и другое: что одиночество можно преодолеть. Не через отказ от себя, а через принятие других. Через любовь. Через дружбу. Через ту самую «соборность», о которой он писал. И это открытие было для меня важнее всех философских трактатов.

В этом смысле я всегда был близок к идеям русских философов Серебряного века — Бердяева, Соловьёва, Франка. Они говорили о том, что человек не может существовать вне общности, вне «мы». Что личность раскрывается не в изоляции, а в диалоге. Что свобода — это не право делать что хочешь, а ответственность за других. И эти идеи, которые казались такими далёкими от заводской жизни, вдруг становились реальными, когда я смотрел на своих товарищей.

Я помню, как мы строили хоккейный каток. Казалось бы, что может быть проще? Взяли трубы, сварили, залили водой. Но для нас это было не просто строительство. Это был акт утверждения себя. Мы говорили: «Мы можем. Мы не просто детали плана. Мы — люди. Мы хотим жить по-настоящему». И в этом жесте, в этом общем деле, мы находили ту самую свободу, о которой писали философы. Не абстрактную, а конкретную. Свободу делать, творить, быть.

Я часто думаю о том, что такое взросление. Это не просто переход от детства к юности. Это переход от «я» к «мы». Это момент, когда ты перестаёшь считать себя центром вселенной

и начинаешь видеть других. Это момент, когда ты понимаешь, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И что настоящая сила — не в том, чтобы быть выше всех, а в том, чтобы быть рядом.

Ромен Роллан, которого мы тоже читали в те годы, писал: «Жить — значит бороться, бороться — значит жить». И я сейчас понимаю, что это не про борьбу с системой — хотя и про неё тоже. Это про борьбу с собой. С ленью, со страхом, с желанием быть как все. С той частью себя, которая хочет лёгкого пути. Настоящая взрослость начинается в тот момент, когда ты перестаёшь искать оправдания и начинаешь действовать. Даже если страшно. Даже если непонятно. Даже если никто не поддержит.

В этом смысле я всегда восхищался героями Шолохова. Не теми, которых проходили в школе, а настоящими — простыми людьми, которые делали свою работу, любили своих жён, растили детей и при этом оставались людьми в самые страшные времена. Они не были героями в плакатном смысле — они были героями в быту, в повседневности. Они умели жить, когда жить было невозможно. И это умение — быть человеком в нечеловеческих условиях — я считаю высшим проявлением духа.

Я вспоминаю свой первый день на заводе. Как я стоял у станка, не зная, что делать, и чувствовал себя полным ничтожеством. Как я испортил деталь и думал, что жизнь кончена. Как я хотел всё бросить и уйти. Но я остался. Потому что понял: уйти — значит признать, что ты слаб. А остаться — значит дать себе шанс. Шанс научиться, вырасти, стать.

И это, наверное, главный урок, который я вынес из того времени: жизнь не спрашивает, готов ли ты. Она просто ставит тебя перед выбором. И каждый раз, когда ты выбираешь — ты становишься старше. Не по годам, а по духу.

Я много думал о любви. О той первой любви, которая приходит, когда ты ещё ничего не умеешь, ничего не знаешь, но чувствуешь, что мир стал другим. Это как настройка гитары: сначала всё звучит фальшиво, а потом — вдруг — аккорд, и ты понимаешь, что струны наконец-то запели. Но любовь — это не только радость. Это и боль. Это страх потерять. Это ответственность. Это умение прощать. И в этом смысле любовь — лучшая школа взросления. Потому что она учит быть не одиноким.

Мы часто искали смысл в книгах. В философии. В спорах о том, что такое хорошо и что такое плохо. Но смысл оказывался проще. Он был в том, чтобы быть рядом. Чтобы держать за руку. Чтобы говорить друг другу правду, даже если она горькая. Чтобы не бояться быть уязвимым. Я понял это не сразу. Я прочитал много книг, прежде чем понял, что главная книга — это жизнь. И что её нельзя прочитать, её можно только прожить.

Сейчас, оглядываясь назад, я вижу, что те годы были для меня школой не только профессиональной, но и человеческой. Я научился не только работать руками — я научился работать душой. Я научился слышать других, понимать их боль, разделять их радость. Я научился быть другом. И это, наверное, самое важное, что я вынес из того времени.

Мы строили каток. Мы создавали клуб. Мы читали запрещённые книги. Мы спорили о смысле жизни. Мы любили и ошибались. Мы падали и вставали. Мы были разными — как струны на гитаре. Но когда мы звучали вместе, получалась музыка. Не всегда правильная, не всегда чистая, но настоящая.

И теперь я понимаю: взросление — это не когда ты становишься старше. Это когда ты начинаешь звучать. По-настоящему. Своей нотой. В унисон с другими. Это когда ты перестаёшь бояться фальши и просто играешь. Потому что жизнь — это не готовый аккорд. Это процесс настройки. Бесконечный. И прекрасный.

Май 1970 года.

Город Киров.

У проходной завода.

А вот и наши герои

Алексей (Лёша) Белов.

Возраст: 17 лет.

Биография: Вырос в интеллигентной семье (мать — библиотекарь, отчим — инженер). Живет в центральном районе, а не в рабочей слободке. На завод пришел на преддипломную практику, потому что "так надо". На деле — он ищет себя. Начитан, но книжные знания не совпадают с реальностью. Он искренне хочет понять этих "заводских", но боится, что станет таким же, как они.

Речь: Книжная, но он старается "опрощаться". Использует слово "однако", часто цитирует классиков, но делает это вполголоса, стесняясь. В диалогах часто делает паузы, обдумывая ответ.

Внешность: Худощавый, с вечно падающей на лоб прядью. Очки в металлической оправе (на заводе их снимет и будет щуриться). Руки еще не покрылись "трудовыми" мозолями — это его выдает.

Гена (Геннадий Власов) — "Интеллектуал-неудачник".

- Биография: 23 года. Бросил МГУ (философский факультет) после 2-го курса. Возвращен отцом в Киров за "вольномудство" (читал не тех авторов). Отец — местный партийный чиновник в строительстве, но Гена с ним в ссоре.

- Портрет: Рыжая бородка клинышком, небрежный свитер, курит "Беломор" до самого фильтра. Взгляд — сонный, но цепкий.

- Характер: Циник. Маскирует боль предательства (девушка ушла к другу) сарказмом. Любит ловить собеседника на логических ошибках.

- Речь: Медленная, с легким заиканием на взрывных согласных. «Зна-а-аешь, Лёш... Это всё теория. А ты железо потрогай. Оно не врет».

- Мотив: Ищет в Лёше родственную душу, но боится в этом признаться. Провоцирует его споры.

Слава (Вячеслав Волков) — "Спортсмен и оптимист".

- Биография: 22 года. Коренной кировчанин. Мечтал о большом хоккее, но не прошел селекцию в ЦСКА из-за роста. Вернулся, работает фрезеровщиком. Влюблен в хоккей, знает все составы сборной СССР.

- Портрет: Крепыш с квадратной челюстью. Верхняя пуговица рубашки всегда расстегнута. Лыжник, шейк танцует лучше всех в общежитии.

- Характер: Прямой, энергичный. Завод для него — фронт. Он живет по принципу "делай свое дело и не ной".

- Речь: Громкая, рубленая, пересыпанная спортивными терминами. «Белов, ты чего в облаках витаешь? Станок не книга — дисциплину любит».

- Мотив: Изначально Слава — антагонист Лёши. Но потом Лёша поможет Славе организовать хоккейную коробку, и Слава изменит отношение.

Бригадир Василий Петрович Кузнецов (Вася) — "Голос коллектива".

- Биография: Около 40 лет. Прошел войну мальчишкой. Орденоносец, но без звездности. Потерял жену (умерла от болезни), живет заводом.

- Портрет: Грубые руки, просмоленная роба, седой висок. Всегда в каске, даже когда обедает.

- Характер: Скуп на эмоции. Дисциплина для него — святое. Если работает — молчит. Если ругается — матом, но по делу. Верит, что настоящий мужчина — это тот, кто отвечает за свой участок.

- Речь: Короткие команды. «Точить. Живо. Не сопли жевать».

- Мотив: Воспитывает в Лёше мужчину. Его "принятие" — кульминация арки героя.
- Люба (Любовь Кириллова) — "Девушка-конфликт".
- Биография: 20 лет. Лаборантка в ОТК (отдел технического контроля). Она та самая, которая "бракует" детали. Отец-алкоголик, тянет младших братьев.
- Портрет: Тихая, русые волосы в косы. Ходит в скромных платьях. Красива той красотой, которую замечаешь не сразу.
- Характер: Строгая, но ранимая. Ненавидит пьянки в общежитии. Она — связующее звено между "старой" жизнью Лёши и новой. Она тоже читает книжки (тайком).
- Речь: Мягкая, но в ней сталь. «Ты, Лёш, книжку закрыл бы. Поди лучше с ребятами в футбол. Они ждут тебя».
- Мотив: Люба видит в Лёше будущего мужа, но боится, что он сломается. Она проверяет его на прочность.
- Колька (Николай Пугачев) — "Парень-неудачник".
- Биография: 19 лет. Из деревни. В городе 3 года. Не умеет ухаживать за девушками, вечно пьет "бормотуху" (дешевое красное вино) в компании.
- Портрет: Вечно небритый, мятая рубаха. От него пахнет заштатным одеколоном.
- Характер: Забитый, но добрый. Ведется на провокации.
- Речь: Простонародная, с деревенскими словечками. «Белов, ты учоный. Скажи, оно как лучше-то? Смирно стоять или как?».
- Левин Валерий Николаевич — Секретарь горкома ВЛКСМ. Типичный аппаратчик. Красивый, говорит речами. Символ бюрократии. Они едут к нему за льдом для хоккея — получают отказ. Мотив: боится лишней активности.
- Мама Лёши (Екатерина Ивановна) — Библиотекарь. Это "ангел-хранитель". Она присылает ему книжки. Верит в него, даже когда он сам не верит.
- Дядя Миша (вахтер в общежитии) — Старый солдат. Сторож. Символ уходящей эпохи. Он любит молодежь, но блюдет порядок. Подсказывает Лёше, как обходить комитетские интриги.

Глава 1. Проходная номер три

Март 1970 года. Город Киров. Утро.

Троллейбус дернулся, заскрежетал токоприемниками на повороте, и Лёша Белов вжался спиной в жесткую пластиковую спинку сиденья. За мутным стеклом проплывали серые пятиэтажки, облезлые тополя, и люди, люди, люди — с авоськами, с портфелями, с лицами, еще не проснувшимися окончательно, еще хранящими остатки утреннего сна. Они все ехали туда же. К проходной.

Он переложил папку для чертежей из одной руки в другую и глянул на часы. Пять минут восьмого. Практика начиналась в восемь. А ему еще нужно найти того, кто его встретит, пройти инструктаж, получить робу. Если бы не этот проклятый будильник, который он вчера забыл завести...

— Молодой человек, вы выходите? — голос кондукторши, усталый и безразличный, про-
рвался сквозь шум.

— Да, да, простите.

Лёша вскочил, едва не выронив папку, протолкнулся к выходу, где уже толпились рабочие в стеганых куртках и ватниках. Кто-то дышал ему в затылок табачным перегаром, кто-то матерился сквозь зубы, потому что двери никак не открывались. А потом — рывок, и холодный мартовский воздух ударил в лицо, такой колющий, что захотелось втянуть голову в плечи.

Он спрыгнул на асфальт и огляделся.

Вот она. Проходная.

Огромное, тяжелое здание из красного кирпича с вывеской над входом: «Завод. Проходная № 3». Над вывеской — портрет Ленина, строгий, с вдумчивым прищуром. Из проходной валил народ — волна серо-синих ватников, касок, резиновых сапог. Они шли не останавливаясь, не глядя по сторонам, будто это была не проходная, а жерло гигантской печи, которая переваривала людей каждый день в одно и то же время.

Лёша замер на мгновение. Папка с чертежами вдруг показалась ему смешной и неуместной. Он сунул ее под мышку, поправил очки, съехавшие на кончик носа, и шагнул вперед.

— Стоять! — голос был низким, раскатистым, как гром. — Стоять, говорю!

Перед ним выросла фигура в форменной шинели и с красной повязкой на рукаве. Вахтер. Пожилой мужик с седыми усами, такими густыми, что казались они продолжением бровей. Лицо — кирпичное, обветренное, с глубокими морщинами, похожими на трещины в засохшей земле.

— Ты куды прешь, очкарик? — Вахтер Миша — так гласила бейджик на его груди — смотрел на Лёшу с насмешливым прищуром. — Не видишь, турникет? Пропуск есть?

— У меня направление, — Лёша полез в карман, достал сложенный вчетверо листок. — Я Белов Алексей. Из техникума. На практику.

Вахтер взял бумажку, повертел в мозолистых пальцах, даже понюхал почему-то. Потом хмыкнул.

— Хмырь. Студент, значит? Первый раз на заводе?

— Первый, — признался Лёша, и голос его предательски дрогнул.

— То-то я гляжу, руки белые. Наученных-то видно сразу. Они, брат, вон, — вахтер махнул рукой в сторону шеренги рабочих, что сновали через турникет, — они робу надевают — и на станок, даже не задумываясь. А ты стоишь, на Ленина любишься. Давай, проходи давай. Второй цех. Там бригадир Кузнецов, Василий Петрович. Скажешь — Миша послал.

— Спасибо, — Лёша проскользнул через турникет, едва не зацепившись папкой за вертушку.

И тут — навалилось.

Тысячи лиц. Тысячи одинаковых ватников. Серый, безликий поток, который двигался по коридору к раздевалкам, потом к цехам, потом к станкам. Все они были мужчинами — и молодыми, как он сам, с белесыми ресницами и прыщавыми щеками, и старыми, с сединой, с уставшими глазами, с пальцами, распухшими от работы. Они говорили на каком-то своем языке — грубом, коротком, без лишних слов. «Сделал?», «Прогнал?», «Норма есть?». Они не улыбались. Они просто шли.

«Боже, — подумал Лёша. — Они все одинаковые. Как винтики. Как детали на конвейере. Я ведь не такой. Я не могу стать таким».

Он замер посреди коридора, прижав папку к груди, чувствуя, как она дрожит в его руках. Мимо шли, шли, шли. Кто-то толкнул его плечом, даже не извинившись. Пахло мазутом, железом, потом и еще чем-то сладковатым, приторным — то ли смазкой, то ли просто заводским духом, который въедается в кожу навсегда.

— Ты че стоишь, как столб? — раздалось сзади. Лёша обернулся. Высокий парень в кожаной тужурке, с копной светлых волос, смотрел на него в упор. В глазах — ни злобы, ни интереса. Пустота. — Иди давай, не мешай.

— Я ищу второй цех, — выдавил Лёша.

— А ты чего, новенький? — Парень окинул его взглядом с ног до головы, задержавшись на очках и папке. Хмыкнул. — Тьфу, практикант. Стукачок, что ли?

— Я... я просто практику прохожу.

— Ну-ну. — Парень сплюнул сквозь зубы на бетонный пол. — Второй цех — налево, потом прямо, потом за угол. Там Кузнецов, нашего полку прибыло. Скажи ему, что Слава Волков передал. Может, не убьет сразу.

И он ушел, растворился в серой толпе, как капля дождя в луже.

Лёша сглотнул и двинулся по указанному маршруту. Коридор кончился, и перед ним распахнулось огромное пространство цеха. Грохот стоял такой, что закладывало уши. Станки — огромные, чугунные, изрыгающие искры и стружку — стояли рядами, и над каждым склонялась фигура в рабочей робе. Света было мало, только тусклые лампы под потолком, да еще огоньки от сварки, яркие, сине-белые, которые вспыхивали то тут, то там.

Лёша шел осторожно, стараясь не наступить в лужи масла, не задеть штабеля деталей. В нос ударил резкий запах — окалины, горячего металла, ацетона. Он закашлялся, прикрывая рот рукавом.

— Эй, студент! — крикнули откуда-то сверху.

Лёша поднял голову. На площадке второго яруса стоял мужик в каске и брезентовом фартуке. Лицо у него было суровое, квадратное, как у иконы. Седой висок. Глаза — цепкие, серые, смотрят в самую душу.

— Ты Белов, что ли? — спросил мужик, спускаясь по железной лестнице. Шаги его были тяжелыми, уверенными. — Я Кузнецов. Василий Петрович. Бригадир.

— Здравствуйте, — Лёша протянул руку, но бригадир даже не взглянул на нее. Он взял направление, прочитал, скривился, будто лимон съел.

— Техникум, значит. — Голос у Василия Петровича был низкий, хриплый, без всякой интонации. — Зачем к нам послали? Учиться, или как?

— Практику проходить, — пробормотал Лёша. — По специальности. Технолог-машиностроитель.

— Технолог. — Вася хмыкнул. — А ты станок-то в глаза видел?

— В училище... на уроках...

— То не станок. То игрушки. — Бригадир махнул рукой в сторону ряда агрегатов. — Вот это станки. Фрезерные. Токарные. Шлифовальные. Тут, брат, не чертежи рисовать. Тут железо гнуть. Понял?

— Понял, — тихо сказал Лёша.

— Ну, давай, покажи, чему вас там учат. — Вася подошел к одному из станков, хлопнул по массивной станине ладонью. — Видишь заготовку? В тиски ее надо зажать. Сделай.

Лёша приблизился к станку. Заготовка — толстый стальной вал, тяжелый, маслянистый — лежала на верстаке. Рядом — тиски, огромные, чугунные, с рукояткой, похожей на рычаг от лебедки. Он взялся за рукоятку, навалился всем телом. Тиски даже не шелохнулись. Он нажал сильнее, ноги скользнули по масляному полу. Ничего.

— Слабо, — констатировал Вася. — Совсем слабо. Руки у тебя, Белов, как у барышни. Ты хоть раз в жизни тяжести поднимал? — Он отодвинул Лёшу в сторону, взялся за рукоятку одной рукой, коротко дернул — и тиски захлопнулись, схватив вал мертвой хваткой. — Вот так делается. Понял?

Лёша молча кивнул, чувствуя, как горит лицо. Очки запотели. Он снял их, протер краем рубашки, но в цеху было так жарко и сыро, что они сразу запотели снова.

— Ладно, — буркнул Вася. — Иди пока робу получай. Кладовщица Галя даст. Обувайся, как все. И к обеду чтобы был готов. Посмотрим, что ты за птица. Бездельников у нас не держат.

Он отвернулся и ушел к своему станку, оставив Лёшу стоять посреди грохота, масла и чужой, чужой жизни.

Лёша выдохнул. Руки его дрожали. Он сжал их в кулаки, пытаясь унять дрожь. В ушах все еще звенело от шума, в носу — от запахов. Глаза слезились.

«Ты хоть раз в жизни тяжести поднимал?»

Он поднял голову и посмотрел вверх, в потолок, усеянный трубами и проводами. Какая-то птица — воробей, наверное, — забилась в угол под потолком и трепыхалась, не зная, как выбраться из этого железного ада.

Лёша усмехнулся.

«Мы с тобой похожи, брат. Тоже вот залетели».

Он поправил папку с чертежами, нашарил в кармане очки — сухие, наконец — и пошел искать кладовщицу Галю.

Глава 2. Струны и душа

Тот же день. Вечер. Общежитие завода, комната 217.

Общежитие пахло борщом, табаком и сыростью. Лёша шел по коридору третьего этажа, стараясь не наступать на пятна, которыми был усеян линолеум — темные, маслянистые, как следы от подошв, навсегда въевшиеся в пол. Двери по обе стороны были приоткрыты, и оттуда доносились голоса, радио, звон посуды, иногда — ругань. Кто-то громко смеялся, кто-то спорил о футболе, кто-то играл на гармошке, фальшиво и надрывно.

Комната 217 оказалась в конце коридора. Лёша постучал — три коротких удара костяшками — и толкнул дверь.

— Входи, не заперто, — донеслось изнутри.

Женька сидел на кровати в нижней майке и тренировочных штанах, расчесывая мокрые волосы. После смены он успел сходить в душ — в общежитии, правда, душ работал только до шести, и вода была ледяная, но Женька любил закаляться. Он был плотный, коренастый, с круглым, добродушным лицом, которое даже после тяжелого рабочего дня сохраняло какое-то мальчишеское выражение.

— Лёшка! — Женька расплылся в улыбке, отбросил расческу. — А я думал, ты не придешь. Как первый день? Убили?

— Почти, — Лёша перешагнул через порог и закрыл за собой дверь. — Дали заготовку в тиски зажать. Я не смог.

— Бывает, — Женька хмыкнул. — У нас тут тоже новенькие поначалу плачут. Привыкнешь. Ты, главное, не выёживайся. Работай — и всё. Давай, проходи, садись.

Комната была маленькой, метров четырнадцать, заставленной двумя кроватями, двумя тумбочками и столом, на котором в беспорядке лежали книги, журналы, пустые пачки из-под сигарет и алюминиевая кружка с засохшим чаем. В углу стоял старый, обшарпанный шкаф, на дверце которого кто-то нарисовал шариковой ручкой якорь. На подоконнике — герань, единственное живое существо в этой железобетонной клетке.

Но Лёша смотрел не на герань.

На кровати, небрежно брошенная на серое одеяло, лежала гитара. Старая, с поцарапанным корпусом, с одной струной, которая явно была заменена на новую — цвет другой, яркий, серебряный. Гитара выглядела так, будто ее любили, но не баловали.

— О, — Лёша шагнул к кровати. — Можно?

— Бери, конечно. — Женька махнул рукой. — Я на ней играть все равно не умею. Мне Колька подарил, из третьей комнаты. Он в армии научился, а тут оставил, говорит, всё равно не нужна. Я думал, сам выучусь, да руки не из того места растут. А ты возьми, может, настроишь.

Лёша взял гитару. Она была легкой, почти воздушной — дешевая фабричная работа, сосновый корпус, накладка из темного пластика. Он провел пальцами по струнам. Только вот ухо резануло, как ножом по стеклу.

— Расстроена, — сказал он. — Сильно.

— Ага, — Женька зевнул, потянулся. — Я пробовал крутить колки, но только еще хуже сделал. Ты умеешь?

— Немного. — Лёша сел на край кровати, положил гитару на колени. — В музыкалке пару лет занимался. Бросил потом. Но аккорды помню.

Он взял Ля-минор. Легкое касание — и струны загудели, но как-то мертво, вразнобой, без души. Он попробовал настроить, крутанул колок — басовая струна взвизгнула и снова сбилась. Лёша вздохнул, еще раз провел по струнам, потом положил гитару рядом с собой.

— Не получается.

— Ну и ладно. — Женька встал, натянул через голову чистую рубашку. — Мы на танцы собираемся, кстати. В клуб. Там сегодня дискотека. Говорят, пластинки привезли новые, заграничные. Пойдешь?

— Не знаю, — Лёша пожал плечами, оглядывая комнату. Взгляд его упал на стол. Там, среди газет и журналов, лежала книга в сером переплете, потертая, зачитанная до дыр. Он наклонился ближе, разглядывая корешок. Артемов. «Очерки психологии».

— Жень, это чья книга?

— А, — Женька обернулся, натягивая ботинки. — Гены. Сосед мой. Он сейчас к нам зайдет, кстати. Сказал, что клуб тоже собирается, втроем пойдем. Ты познакомишься.

— С Геной? — Лёша взял книгу в руки, раскрыл на середине. Страницы были испещрены пометками — карандашом, мелким, аккуратным почерком. Кто-то очень внимательно читал этот Артемова.

— Ага, — Женька натянул куртку. — Гена Власов. Он у нас главный интеллектуал. Бросил институт в Москве, учился на философа, теперь здесь работает. Странный парень, но умный — жуть. Ты ему понравишься, вы оба книжные черви.

— Я не червь, — обиделся Лёша, но улыбнулся.

В этот момент дверь распахнулась, и в комнату шагнул высокий, худой парень с рыжей бородкой, клинышком, такими же рыжими волосами, зачесанными набок, и серыми, сонно-прищуренными глазами. Он был одет в свитер крупной вязки, похожий на тот, что носили хиппи на фотографиях в журналах, и клетчатые брюки-клеш, которые начинали входить в моду.

— Женя, ты готов? — Голос у него был тихий, чуть вязкий, с заметным заиканием на первых слогах. — Я уже... уже устал ждать.

— Ген, знакомься, — Женька показал рукой на Лёшу. — Лёшка Белов, мой друг. С сегодняшнего дня на практике у нас.

Гена перевел взгляд на Лёшу. Взгляд этот был тяжелым, долгим, изучающим, как у рентгена. Он задержался на очках Лёши, на его тонких пальцах, на книге, которую тот держал в руках.

— А-а-а, — протянул Гена, медленно улыбнувшись. — Значит, это ты тот самый. Женька рассказывал. Практикант. Уже познакомился с Василием Петровичем?

— Да, — Лёша чувствовал себя неуютно под этим взглядом. — Заготовку не смог зажать.

— Естественно, — Гена хмыкнул. — Ты руки-то видишь? — он взял Лёшину кисть, повернул, разглядывая, будто диковинную вещь. — Тонкие. Интеллигентные. Такими руками книги писать надо, а не железо гнуть. Ты, наверное, читал Артемова?

— Нет еще, — честно признался Лёша. — Но собирался. Ты оставлял пометки?

— Поме-е-етки, — Гена усмехнулся. — Конечно. Артемов — неплохой популяризатор, но глупый. Вся его психология — это политика. Он пытается доказать, что человек — это продукт среды. А на самом деле человек — это хаос. Понял?

— Не совсем, — Лёша нахмурился.

— А ты поймешь. — Гена взял у него из рук книгу, пролистал, нашел какую-то страницу, поставил пальцем. — Читай. Особенно главу про темперамент. Холерики, сангвиники... А где свобода воли? Где душа? Где выбор? Нет. Вся ваша советская психология... — он запнулся, поправил очки, которых у него не было, просто привычный жест, — ...она лепит из человека функцию. А у каждого из нас — бездна.

— А ты что, в бога веришь? — неожиданно для самого себя спросил Лёша.

Гена посмотрел на него так, что Лёша пожалел о своем вопросе. Взгляд был ледяной.

— Я верю в человека. — Гена хлопнул книгой по столу. — Но только когда он сам себе хозяин. А здесь, — он обвел рукой комнату, стены, потолок, — здесь все заводские. Все по

плану. Даже мы с тобой сейчас идем на дискотеку не потому, что хотим, а потому, что в клубе сегодня «Битлз» играют. Ты слышал «Битлз»?

— Немного, — Лёша пожал плечами. — На магнитофоне у друга.

— У-у-у, — Гена прищурился. — Тогда ты еще не слышал. Это не музыка. Это откровение. Это голос свободы. — Он поднял гитару, которая так и лежала на кровати, провел по струнам. Звук был ужасным, расстроенным, диссонансным. Гена скривился. — Расстроена. Как вся наша жизнь. Никто не настраивает струны, а потом удивляются, что поют фальшиво.

— Я пытался настроить, — сказал Лёша. — Но колки не держат.

— И души не держат, — Гена положил гитару обратно. — Ладно. Пошли. Там, в клубе, все равно лучше, чем здесь. Здесь только стены, книги и мысли. А там — жизнь. Хотя бы иллюзия жизни.

Они вышли в коридор. Женька запер дверь на ключ, спрятал его в карман. Лёша шел рядом с Геной, чувствуя на себе его боковой, изучающий взгляд. Ему хотелось спросить еще что-то — про книгу, про пометки, про Москву, — но язык как будто прилип к небу.

Лестница пахла сыростью и табаком. На площадке второго этажа кто-то громко и пьяно пел: «Эх, топни, нога, топни, правенькая...». Гена остановился на мгновение, прислушался, покачал головой.

— Видишь? — сказал он тихо. — Вот она, душа народа. Водка и частушки. А ты думал, там философия?

— А ты сам? — не выдержал Лёша. — Ты же философ. Почему ты здесь, а не в Москве?

Гена обернулся. В полумраке лестницы его глаза казались почти черными, а рыжая борода — огненной.

— Потому что в Москве, брат, тоже расстроены, — сказал он с горькой усмешкой. — Только там струны настроены по-другому. А смысл... смысл один. — Он толкнул дверь на улицу, и холодный ветер ворвался в подъезд. — Пошли. Лучше танцевать, чем думать.

Они вышли на улицу. Сумерки уже сгустились, уличные фонари зажигались один за другим, разливая желтый свет по мокрому асфальту. Лёша поднял воротник куртки и зябко поежился.

«Он умный, — думал он, глядя на сутулую фигуру Гены, которая шагала впереди, засунув руки в карманы клетчатых брюк. — Очень умный. И циничный. До зубного скрежета. Как он может так жить? Без надежды? Без веры?»

Он вспомнил книгу на столе. Пометки на полях. Стихи, которые мелькнули на корке — он не успел их прочитать толком, но заметил: короткие строки, нервный почерк.

«Бедновато, — подумал Лёша. — Но искренне. Может, он просто боится быть искренним? Боится, что его раскусят?»

— Ты чего отстал? — крикнул Гена, не оборачиваясь. — Не стесняйся. Теперь ты свой. Заводской парень. Скоро научишься пить портвейн и материться через слово. Это у нас программа обучения.

— Я не буду материться, — буркнул Лёша, догоняя его.

Гена резко остановился, развернулся, и Лёша чуть не врезался в него. Гена смотрел в упор, вблизи, и в его глазах мерцала странная смесь злости и боли.

— Будешь, — сказал он тихо. — Когда у тебя руки сотрутся в кровь, когда начальник скажет, что ты ничтожество, когда девушка, которую ты любишь, уйдет к другому, — ты будешь материться. И пить. И ненавидеть этот мир. А потом ты успокоишься и станешь как все. — Он помолчал. — Вопрос только в том, сколько времени тебе понадобится.

Лёша молчал. В горле пересохло. Он не знал, что ответить на эту жестокую правду, которая была больше похожа на исповедь.

— Ладно, — Гена развернулся и пошел дальше. — Не бери в голову. Я просто устал. Иди сюда, покажу тебе клуб. Там сегодня, говорят, ребята из городского театра придут. Девчонки красивые. Может, отвлечешься.

Они шли по улице мимо спящих пятиэтажек, и Лёша смотрел на отражения огней в лужах, на редкие машины, на людей, которые спешили домой. В голове крутилась одна мысль, как заевшая пластинка.

«Я не стану таким, — твердил он себе. — Я не стану циничным. Я не потеряю себя. Я не позволю этому заводу, этим струнам, этой жизни — расстроить меня».

Но где-то в глубине души шевелился червячок сомнения.

«А что, если он прав? Что, если все мы — только расстроенные гитары, которые никто никогда не настроит?»

Он сжал кулаки в карманах, чувствуя, как холод пробирает до костей.

«Нет. Я докажу. Я докажу, что можно быть собой. Даже здесь. Даже на этом заводе».

Поздний вечер. Тот же день. Комната Лёши дома.

Он сидел за столом в своей маленькой комнатке, где пахло старыми книгами и мамиными духами. За окном шумел ветер, где-то вдалеке лаяла собака. Перед ним лежал дневник — обычная общая тетрадь в клетку, которую он завел еще в школе.

Ручка скрипела по бумаге, оставляя фиолетовый след.

«Сегодня был первый день на заводе. Меня чуть не раздавили в проходной. Я не смог зажать вал в тисках. Бригадир смотрит на меня как на пустое место. Я чужой там.

Но самое странное — это Гена. Он умный, очень умный. Читал Артемова, Декарта, наверное, весь список. Но он сломлен. Он смеется над всем — над заводом, над жизнью, над самим собой. Он говорит, что мы все расстроены, как гитара, и что никто нас не настроит.

Мне страшно. Страшно, что я могу стать таким же. Потерять веру в то, что можно жить по-другому. Не пить, не материться, не ненавидеть.

Я не хочу стать таким. Я не хочу быть расстроенной гитарой.

Умный, но циничный. Не хочу стать таким.»

Лёша закрыл тетрадь, положил ручку. За окном завыл ветер, и где-то в соседнем доме заиграло радио — мелодия, тихая, печальная, как будто кто-то играл на расстроенном пианино.

«Завтра будет новый день, — подумал он. — Я приду на завод. Я попробую еще раз. Я не сдамся».

И он лег, укрылся одеялом с головой, чтобы не слышать этот ветер и этот город, который казался ему большим, холодным и совершенно чужим.

Глава 3. Норма

Середина марта 1970 года. Вторник. Утро. Цех №2 завода.

Серый рассвет только начинал пробиваться сквозь закопченные окна под самой крышей, когда Лёша Белов переступил порог цеха. Здесь всегда было темно, хоть глаз выколи, даже в полдень — тусклые лампы под потолком едва разгоняли мрак, и казалось, что свет просто не может победить эту вековую копоть, осевшую на стенах, на станках, на лицах людей. Воздух был тяжелым, маслянистым, с привкусом железа и ацетона. Он оседал на коже липкой пленкой, которую невозможно было смыть.

Лёша стоял у своего станка — старого, выдавшего виды фрезерного агрегата, который, казалось, жил своей собственной жизнью. Он гудел, вздыхал, постанывал, как больной старик, когда Лёша включал его кнопкой. И каждый раз, прикасаясь к этим холодным, маслянистым рычагам, Лёша чувствовал себя самозванцем. Ему казалось, что станок смотрит на него с насмешкой — такой же насмешкой, с какой смотрел на него весь этот цех, эти люди, эта жизнь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.